



**О книге Сергея Куняева
"Николай Клюев"**

Николай Клюев как будто о себе писал: "Ты, жгучий отпрыск Аввакума, Огнем словесным опалён...". Вот этот клюевский словесный огонь опалил и критика Сергея Куняева, выпустившего в самом конце 2014 года в серии ЖЗЛ свою биографию олонечского поэта с такой трагической судьбой. Увы, это истинный вариант судьбы любого подлинно русского национального писателя. Эту книгу я, клюевский земляк, давно уже ждал. Понимал, что после книги о Сергее Есенине Сергей Куняев с неизбежностью должен заняться творчеством его наставника и более последовательного русского мистика.

Есть хорошие книги, которые и пишутся быстро, и читаются быстро. Но поэтический талант Николая Клюева рассчитан на медленное чтение, на медленное постижение. Потому и биография Клюева Сергей Куняев писал мучительно долго, и читается она тоже медленно, без спешки. Это оставленное время русского духа. Через поэзию Клюева постигаешь и народную русскую культуру. Он сам по себе — редчайший русский народный тип, выходяще из древнего старообрядческого рода. Мать его, Парасковья Дмитриевна, была сама сказочницей, молитвенницей, и с самого детства наплатила будущего поэта всеми богатствами староверческой северной культуры. Меня самого с детства поражала насыщенность народной северной культуры явно не северными, санскритскими, восточными, индийскими образами. Откуда эта Белая Индия взялась в стихах Николая Клюева?

На эту загадку тоже пытается ответить Сергей Куняев в клюевской биографии. В этом и трудность изучения Николая Клюева, он как никто другой своим творчеством повязан со всей древней русской культурой, не оторвать. И занимаясь Клеуевым, Сергей Куняев поневоле занимается староверчеством, скопцами, суфиями, русским фольклором, индийской мифологией. Все воедино. Даже Сергея Есенина легче изучать в отрыве от других, как отдельное явление, без предшественников. Занимаясь Клеуевым, приходится копать глубже.

Клеуевщину в двадцатые-тридцатые годы выжидали по всей Руси. Не столько боялись влияния Сергея Есенина, допуская выпуск книг поэтов Серебряного века, сколько поэзии Клеуева. Клеуевщину истребляли калёным большевистским железом. В ответ ещё в 1919 году Николай Клеуев писал своим "братьям-большевикам" пророческие слова, которые так важны и сегодняшней России: "Направляя жало пулемёта на жар-птицу, объявляя её подлежащей уничтожению, следует призадуматься над отысканием пути к созданию такого искусства, которое могло бы утолить художественный голод дремучей черносостной России". Он сам и вышел из недр этой дремучей черносостной России, так ненавидимой комиссарами всех мастей и национальностей.

Поэтому и читал я книгу о своём олонечком земляке Николае Клеве, как книгу о глубинной тысячелетней Руси и её древней культуре, так ненавидимой всеми нашими европейцами. Потому и Клеуева отодвигали в сторону и в начале оттепели, когда уже реабилитировали Мандельштама и других, и в начале перестройки, когда уже публиковали самых лютых антисоветчиков, но ежили они были с европейским уклоном. Вот потому мы только сейчас и дождались, во втором десятилетии нового века, подробную книгу о северном кудеснике слова.

Вряд ли Николай Клеуев смог бы стать столь народным поэтом, как его младший брат Сергей Есенин, но несомненно, что истоки клюевского творчества глубиннее, архаичнее, черно-

сошнее...

Впрочем, это хорошо понимали они оба. Клеуев чувствовал в Сергее Есенине огромную поэтическую мощь, и потому мечтал возвести его на русский поэтический престол: *"Изба — пятапельница слов, Тебя взростила не напрасно: Для русских сёл и городов Ты станешь радуницей красной"*. Себя Николай Клеуев чувствовал как претдтеку, предшественника, донёсшего народное слово до письменной литературы.

Николай Клеуев и на самом деле опирался на уходящую в глубь веков народную традицию, народное творчество. Его стих не нуждался в разви-

ла тот самый мужиккий народ, даже не немислымо количество инородцев в органах власти, русский народ всечеловечен и чужаков не боится, а неприятие большевиками этого самого мужиккого царства, народной самобытности, да и самой народной культуры.

Сергей Куняев и открывал поэзию Клеуева, как неизведанный нам ещё мир изначальной русской жизни. Сергей Куняев прав: по сути своей Николай Клеуев был чужд и всем поэтам Серебряного века, и всем советским поэтам. Он сам обрёл себя на тотальное одиночество, погрузившись в мир никому не веданной народной поэзии.

По следам огнепалого...

Владимир БОНДАРЕНКО

тии. В каком-то смысле он был статичен, как поморская гранитная скала, на которой высечены рождённые русским народом слова, запечатлён народный язык.

Сергей Есенин уже пошёл дальше, спотыкаясь и падая, развивая русские поэтические традиции. Его путь был — дойти до народа, дать ему своё поэтическое слово.

Николай Клеуев нёс миру сокровенные народные тайны. А значит: и его религию, и его мистику, и его ощущение природы. Говорят, что крестьянин не чувствует красоту природы, лишь использует её, косит траву, рубит дрова и так далее. Все творчество Клеуева — опровержение этих измышлений интеллигентины.

*Дух осени прянично-терпкий
Сулут валовой листопад,
Пасёт преподобный Аверкий
На речке буланных утят.
На нём балахонец убогий.
Но в суметень видится мне,
Как свечко венчик деурогий
Маячит в глухой глубине.*

Мир природы у Клеуева всегда иконописен, он видит все тончайшие явления природы как часть единого православного мира. Природа у него религиозна, не исчерпывается лишь эстетическим или прагматическим предназначением. Русская народная культура за тысячелетие православия органично соединила божеское слово и эстетическое чувство. Потому и восхищался поэзией Николая Клеуева, казался бы, не такой близкий ему поэт Иосиф Бродский. Бродский писал: "Если в ту антологию (русской поэзии XX века, — В.Б.), о которой вы говорите, будет включена "Погорельщина" Клеуева или, скажем, стихи Горбовского — то "Бабыёму яру" там делать нечего..."

Вот тем и страшна была великая клюевщина для воинствующих безбожников, что не нуждалась в развитии, опираясь на устойчивый крестьянский и православный мир. Сергей Есенин мог развиваться согласно своему времени, бежать вприпрыжку за комсомолом, носить цилиндр, писать богохульные стихи. У Николая Клеуева такой возможности не было изначально. Он не развивался в ногу со временем, а пытался и само время при всех его громадных перепадах включить в себя; включить в свой черкешенский древлеправославный мир и большевиков, и Ленина, и саму революцию.

Для меня поэзия Клеуева ещё одно объяснение неизбежности самой революции. Народ не видел себя единым с бaramи, какими бы эти бары не были хорошими и культурными. Он понимал свою правду, и потому на первых порах поверил в возможность установления "мужиккого царства", увидел в Ленине своего крестьянского вожака, отсюда знаменитое клюевское:

Есть в Ленине черкешенский дух.

Игуменский окрик в декретах...

И не жестокость ЧЕКА разочарова-

Я думаю, свою поэтическую миссию в первом приближении Николай Клеуев исполнил уже в 1919 году, когда вышел его "Песнослов". Все скрижали народные на каменистой глыбе из олонечских лесов были выведены. Ни в какие силки ни властей, ни записных богословов, сужающих православный мир до узкого набора догм, поэт не попал. Его Христос — это народный Христос, это не Христос монастырей и аскетических келий, а Христос, дарящий человеку всё многообразие живой жизни, ибо всё на земле — Божье творение. Любкой печной быт не отделим от высшего духовного начала, сама крестьянская изба впервые в русской поэзии по-настоящему, без намёков на пейзажство, без повторства помещицким дворянским взглядам, воспе- та Николаем Клеуевым. Святая Русь у Клеуева одновременно и красивая Русь, и народная Русь, и жизнелюбивая Русь.

Как говорит Сергей Куняев: "На Клеуева сосредоточилось очень много как в истории России, так и в революционной современности, потому что мало кто до сих пор отдаёт себе отчёт в том, насколько сильно была религиозная компонента в революции начала XX века. Это было инстинктивное возвращение у многих к первоначальному слышанному Христову слову, к первоначально прочитанному Евангелию..."

Поклонники Клеуева из официальной православных кругов были явно разочарованы "Песнословом", ибо нашли там вместо смирения восхищение богатством всех проявлений, в том числе и плотских, русской народной жизни. Поэт, может быть, впервые донёс в книжную культуру народную реабилитацию торжества тела, как одного из Божьих проявлений. Поэт сам сравнивал образ своего "плотного" Христа с бесплотным интеллигентским Христом русских символистов: "Мой Христос не похож на Христа Андрея Белого. Если для Белого Христос только монада, гиацтин, преломляющий мир и тем самым творящий его в прозрачности. Только лилия, самодовлеющая в белизне... то для меня Христос — вечная, неиссякаемая убойная сила, член, рассекающий миры во влагалище, и в нашем мире прорезывающая залупкой — вещественным солнцем, золотым семенем непрерывно оплодотворяющий корову и бабу, пихту и пчелу, мир воздушный и реисподный — огненный..."

Ещё большее недовольство звучало из коридоров новой комиссарской власти. Избраной рыл был ими перчеркнут, мужикому царству на самом деле не нашлось места в стальном будущем России. Может быть, лишь это и загубило нашу стальную советскую цивилизацию? Жертву мужикким царством нельзя построить прочно никакое другое.

В любой другой стране Николай Клеуев был бы давно объявлен патриархом отечественной литературы, у нас следы великой клюевщины выжи-

гают до сих пор. К счастью, они иной раз возрождаются из пепла. Все наша блестящая деревенская проза, с "Ладом" Василия Белова и "Последним поклоном" Виктора Астафьева, вся тихая лирика от Николая Тряпкина до Николая Рубцова, — полны великой клюевщиной.

На скалистом фундаменте клюевщины стоит современная русская национальная культура. Клеуевщина "Песнослова" — это ещё завоевательная клюевщина, с надеждой на победу. Не страшны даже погружения в бездны преисподней, и оттуда вынесет его стих, как Божье творение. Недаром его относили к "редчайшему в

тыянского мира, а с ним и русского национального мира. И уже пишутся не скрижали народных потаённых открытий, пишется плач по уходящей мужицкой Руси. Вот так и появились его "Погорельщина" и "Песнь о великой матери". Не надо воспринимать поэта как сумрачного мракобеса, отталкивающего от себя цивилизацию. Блестящий знаток мировой культуры он и в нашествии машин не видит ничего опасного, если эти машины служат душе человека, служат земле, на которой человек живёт. Он уверен, что "...Только в союзе с землей благословенное железо перестанет быть демоном, становясь слугой и страдающим

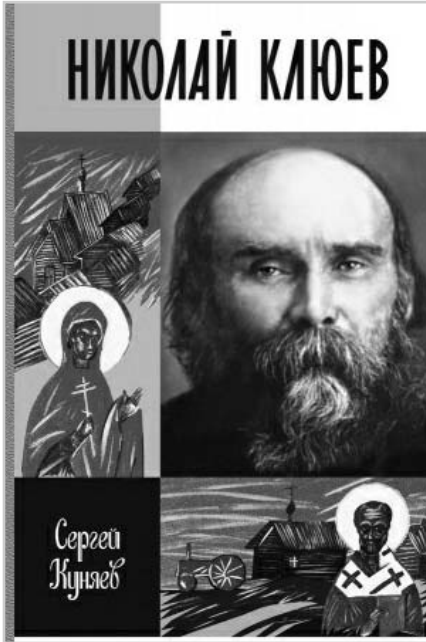
Жизнеописание поэта Сергей Куняев как раз и издал к 130-летию русского национального гения. За ним проглядывает подлинный "плотный" Христос. За ним — всё ещё не исчезающее народное русское царство. Святая народная Русь.

При всём при том, я бы назвал книгу Куняева целостным мифом о поэте, ибо только так можно было придать истинную полноту повествованию о самом, может быть, загадочном национальном русском поэте. Сергей Куняев пишет: "Когда я только приступил к исследованию жизни Николая Клеуева, то до конца не представлял, какая невероятно сложная работа мне предстоит... Клеуев, как шаман или колдун, заставлял меня одними и теми же кругами несколько раз проходить при чтении каждого его стихотворения, чтобы наконец понять суть той или иной его строки. Творчество Клеуева — это система "бездонных колодезев". Образно говоря, ты входил в один из них, начинаешь вычерпывать из него воду, до дна не достаёшь, и переходишь ко второму колодезю, который возникает на твоём пути... Иными словами, это было бесконечное стремление-создавание дойти до сути, до корня, представить себе связь словесного древа поэта с общемировым древом, ещё архаическим, с древнеегипетской, древнегреческой, древнерусской культурами. Только сейчас осознаётся его историческая миссия, роль его художественного слова, миссия, объединяющая современность и исторические пласты... Фразу "Сфинкс России" можно целиком применить к поэту Николаю Клеуеву. Он был загадочен во всём, Клеуева у нас привыкли представлять как человека чрезвычайно замкнутого в своём мире, как поэта, который в основном писал только для себя и намеренно отстранялся от современности. Мне удалось убедиться в другом: Клеуев может многое дать современному читателю. Но для этого нужно читать, понять систему сакральных смыслов, тягущихся в его поэзии. Это я и стремился сделать в своей книге..."

О себе Клеуев писал так: *"Я — поселяющий от народа, На мне великая печать, И на чело своё природа Мою прияла благодать"*. Так о себе не мог сказать ни один из русских поэтов ни в XIX, ни в XX столетии. Как считает Сергей Куняев, именно благодаря мистичности поэзии Клеуева сохранились его архивы. В НКВД в тридцатые годы тоже занимались изучением мистики, на всякий случай хранили и рукописи Николая Клеуева.

"Допустим, дело закрыли, сдали в архив. Но зачем хранить рукописи? Есть у меня ещё одна догадка на этот счёт, — говорит Сергей Куняев. — В 1934 году ГПУ преобразовали в НКВД, где работал отдел, занимающийся различными изысканиями в области русской мистики. Я думаю, что сотрудники этого отдела держали в руках произведения Клеуева, изъятые при обыске, в частности "Погорельщину", поэму "Песнь о Великой Матери" и другие стихи. Все это было сохранено в деле именно по настоянию сотрудников отдела..."

Мне ещё с юношеских лет приходилось знакомиться с жизнью Николая Клеуева, встречался у себя в Петрозаводске с краеведом Грунтовыми, первым собирателем его биографии, с Константином Азодовским, исследовавшим его творчество. Позже, в поездках по Америке и встречах с писателями из второй эмиграции, так называемого "Архипелага Ди-Пи", я общался с Борисом Филипповым, и он подарил мне составленный им двухтомник сочинений Клеуева, по тем временам самое полное издание. Даже с учётом всего ранее мною прочитанного книга Сергея Куняева поразила меня и дотошностью поисков, и цельностью созданного образа русского поэта.



шей газете как-то назвал себя "многолетней архивной крысой" — грубо, но верно. Чтобы разобратся в творчестве Николая Клеуева, во всех его противоречиях и взлётах, надо иметь гигантское терпение поисковика, на одном задоре и интуиции не напишешь. Надо и самому принадлежать к племени неумевших русских правдолюбцев. В книге Куняева о Николае Клеуеве видны и высочайший профессионализм исследователя, и огромный труд архивиста, и глубинный русский патриотизм.

Работал Сергей Куняев в целом над книгой лет двадцать, первые статьи о Клеуеве вышли ещё в 1990 году. Как пишет автор: "В результате получается целый триптих — Клеуев, Есенин, Васильев. Он вырос самым естественным образом. Клеуев благословил Есенина, был его поводырём и учителем и успел благословить и Павла Васильева. Жизнь Клеуева охватывает предреволюционное, послереволюционное время и почти полностью 30-е годы, время, уже описанное в книгах о Есенине и Васильеве. Но Клеуев — это ещё и начало века, 10-е годы. Именно в этом отрезке времени заявлялись все те узлы, многие из которых приходилось потом развязывать или рубить, а некоторые так и остались неразвязанными и неразрубленными" (*"День литературы"*, 2007, № 5).

Николай Клеуев отчётливо, с пророческим пониманием видит кружение не только избранного Рая, но всего крес-

брата человека...". Он искренне сожалеет о разрыве с режимом, о своей ненужности советской власти.

Когда его занавесили от всего мира злостной клеветой и доносами, Николай Клеуев пишет Сергею Есенину: "...порывая с нами, Советская власть порывает с самым нежным, с самым глубоким в народе". Задуматься бы об этом и нынешним властям. И как ответ всей пишущей о нём бесовщине: "Если срединные арфы живут в веках, если песни бедной, занесённой снегом Норвегии на крыльях полярных чаек разносятся по всему миру, то почему ж русский берестяной Сирий должен быть ошпан и казнён за свои многогостерые колдовские свирели — только потому, что серые, с не воспитанным для музыки слухом обмолвлять люди, второпях и опрометчиво утверждая, что товарищ маузер сладкоречивее хородова муз?"

В своей незаконченной большой поэме "Песнь о великой матери" Николай Клеуев обобщает свой духовный опыт, пишет своё житие, как всегда прославляя реальные факты из жизни и подробности быта религиозным и мистическим мироощущением. Это и песнь своему любимому олонечному Северу, русскому Поморью. Это и реальные встречи с современниками и мистические встречи со святыми. Это и поклон последней Руси. К концу поэмы всё более нарастает тема бибелии и обречённости народного уклада, несоединимости его с железной поступью того, что сегодня мы именуем глобализмом.

*Бежим, бежим, посмертный друг,
От чёрных и от красных выю,
На чертерговый огонёк,
Через предательства поток...*

На мой взгляд, Николай Клеуев наиболее религиозный, а точнее православный поэт в великой русской литературе. С одной лишь оговоркой. Его православие — это народное, мужицкое православие, а значит и неприемлемое для некоторой части нашей политической и церковной знати. Но если и есть некая еретька в его писаниях и сказаниях, то она, думаю, целиком окупается и его судьбой и его православным отношением к своей судьбе. Не случайно же в 1937 году, незадолго до своего расстрела, в предчувствии его, на полупти от больницы до кладбища, в последнем известном нам стихотворении Николай Клеуев всё также признаётся в своей любви к России, и никаких проклятий, никакого чувства мести народу, не застигнувшему своего певца: *"Люблю тебя, Рассея, Страна грачиных озимей!"*

Родился Николай Алексеевич Клеуев 10 октября 1884 года в Кошугской волости Вытегорского уезда Олонечкой губернии. Ведёт свой род, как сам поэт говорил: "от Авакумова кореня...". По крайней мере, духовная близость с неистовым протопопом ощущалась им до конца жизни, да и мученическая смерть их схожа.

**Сергей КОРОТКОВ
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
(многою олонечца)**

Захожу я в пустынь храма,
Здесь судьбы моей оплот.
Предо мною панорама —
Весь четырнадцатый год.

Как он есть,
мятежный, смятый,
флаги, флаги на броне:
Их, бандеровский,
проклятый,
Наш — с Христом на полотне.

Ты прости меня, столица,
Уезжаю неспроста.
Мне Донбасс не заграда,
А родимые места.
Я в метро метнусь,

к вокзалу,
Песню странствий запую.
Нас не зря судьба связала
Словом фронтовым "люблю".

Я люблю степные дали
И небесный купорос...
Мы ещё не всё сказали,
Мариуполь — не вопрос.

Терриконы, терриконы,
Пирамиды детских лет...
Монастырские иконы
Сквозь отверстыя
цедят свет.

Те отверсты пулевые —
След врага. Мы отомстим.
И покуда мы живые,
Наш Донбасс не отдадим.

И сурово-непреклонны
Богородицы черты,
Неубитые иконы
Наших судеб блокпосты.

Я люблю анклавы света
В вольных душах удалых.
Мне с повадкой поэта
Хорошо среди живых.

Но и мёртвым, право слово,
Есть дорога из дорог.
Нам луна, и та — подкова.
Между нами нету склоп.

Осетины и чеченцы,
Сербы, с Дона казаки...
Фронтная дружба в сердце,
Словом, все мы кунаки.

Я люблю порыв атаки,
Здесь на нервах:
кто быстрее.

Над моим Донбассом
небо
В обрамлении молитв.



И мы топчем зверознаки,
Чтоб спасти от них людей.

Я — Донбасс. Пора ответить.
Командир, скажи: "Вперёд!"
По степи гуляет ветер,
На круги своя идёт.

Ямы, ямы непробудны —
Кровь и бурая земля.
Крым бы сделали
бездонным,
Если б не приказ Кремля.

Знали "вежливые люди"
С кем придётся воевать.
В Киеве хотят на блюде
Крым Америке подать.

Мировой хочет ирод:
"Эй, Европа, попляши".
Ров глубокий снова вырыт...
Не для русской ли души?

Было дело, было дело,
Нас хотели погубить.
И твоё, Украина, тело,
Нюрбергская метит сыпь.

Танк нацистский проседает
(Дед мой — сколько их пожёг).
Вся земля моя седея
На ладони, как вешдок.

В Руце Божьей глыбы гнева
Истекают кровью битв,

И по лестнице, по узкой,
Наши души вверх идут.
И встречают их по-русски,
И во Царствие ведут.

Крест простой
украшит холмик,
Глина древняя, скажи:
Что забыть мне,
что запомнить?

Чувства в сердце, как ножи.
Помним зарево Одессы,
Будет день и будет суд.
Может, правда, это бесы
Приподняли адский спуд.

Разгромим мы подлостную
Всю бандеровскую рать.
Мы ещё вернем шестую
Часть земли. За пядью пядь.

Я люблю, когда водою
Мы смываем вражью грязь.
И под нашу враздою
Отобьёмся, помялая.

Я люблю повстанцев гонор:
"Воевать так воевать!"
Жизнь люблю,

но знаю — скоро,
Памятником мне стоять.

Но и каменным, поверьте,
Буду край родной стеречь.
Ярче солнца, пуще смерти —
Русская прямая речь.

**Юрий Кузнецов
и духовный стержень его поэзии**

Вот уже почти двенадцать лет прошло со дня кончины Юрия Кузнецова. Его творчество обрело биографическую законченность и теперь рассматривается как путь от одной веки — к другой, от первоначального поиска главной поэтической идеи — к высказыванию окончательно, в свете которого всё предшествующее приобретает особый смысл и динамику развития.

Между тем, до сих пор не прекращается глухой спор вокруг эстетики и духовного стержня поэзии Кузнецова. Одни считают его гениальным поэтом; другие с пренебрежением, достойным лучшего применения, отзываются о его попытке стянуть разрыв дохристианской мистической жизни русского человека — и его более поздних евангельских трудов и подвигив.

Мы знаем, что, по существу, на пустое место в архаические времена пришёл к евреям Ветхий Завет — когда и нравственных привычек не было у этого древнего дикого племени, когда отсутствовала сокровенная общая жизнь с природой и прежние верования и начатки философии не спорили с Откровением, ошеломляющим и часто зрымим.

Другое дело — поздние славянские века: со своей мистикой, соединением в общий круговорот жизни человека и окружающей его среды. Глубокие взаимоотношения с полем, лесом, водой, небом отличали принявшего крещение русского крестьянина или охотника от древнего еврея, жившего порой в скучном пустынном месте, где всё внешнее служило лишь удовлетворению практических нужд, составляло часть его бытовой жизни.

Такое несоответствие обстоятельств, в которых произошли явления Ветхого и Нового Заветов, для славянства нуждается в дополнительном осмыслении.

Во внимании к душевному устройству наших предков, в поиске тех человеческих качеств, что нашли своё продолжение в последующих поколениях, для которых православные подвижники стали безусловными фигурами русской жизни. Невозможно начать заново историю рода с момента его преломления в духовном и мистическом смысле. И нельзя требовать от православного человека достоинств русского воина, землепашца, строителя — без объяснения его родовых черт, общих и

для "крещёной" эпохи, и для былинных столетий.

В самом общем "контурном" смысле, Юрий Кузнецов занимался именно этой стороной нашего бытия, которое чужое его поэта видело в сиюминутных проявлениях современной жизни. Его перо обращалось к мифу, и таким образом снимались пунктуальные стяжки времён

Вячеслав ЛЮТЫЙ



непрерывностью русского и славянского рода. Поэмы о Христе венчают художественный путь поэта. В них в полной мере отразилось его представление о главном смысле человеческой истории. Надо сказать, что современность перенасыщена самой положительной дидактикой, с одной стороны — и неустанным навязыванием всякой нигилисти, с другой. Причём падение в нравственную бездну очень часто сопровождается сострадательной и психологически убедительной риторикой, которая отвлекает человека от высоких задач и убеждает его в необходимости непрестанного внимания к собственной личности.

Это вербальные координаты нашей эпохи, и с ними необходимо считаться. Потому так важно было для Юрия Кузнецова воссоздать облик "живого" Христа, обладающего психологическими приметами, которые, несомненно,

присутствуют в Евангелии, но — как будто спрятаны за значительными событиями и кажутся мимолётными и почти необязательными. Так, в Кане Галилейской Спаситель не хотел являть чудо, но Мать попросила его об этом, — и здесь подразумевается некая скрытая от внешнего взгляда коллизия. Христос отвечает Иуде в момент пленения: делай, что решишь, — и можно только догадываться, какие чувства охватывают Его в эти мгновения.

Лишь тоска в Гефсиманском саду стала психологическим источником, получившим дальнейшее художественное развитие, все иные оттенки переживаний, вполне понятные подготовленному человеку, отодвинуты на второй план.

Они нуждаются в тонкой расшивке и объяснении, которое станет очевидным для любого читателя священного текста. Стоит заметить и то, что описание Райского Сада у Кузнецова насыщено символами и знаками, а происходящее отличается зримыми деталями и характеристиками. Сам же образный срез мистического мироздания в поэме "Рай" находится в полном согласии со всеми другими произведениями поэта. Перед нами — панорама прошлого, настоящего и будущего, с которой сдёрнута плотная пелена материального, и обнажена бытийная суть. В этой непостижимой картине есть место человеку и миру, Богу и великому замыслу о Создании.

Однако и теперь встречаются суждения, в которых имя Кузнецова предстаёт в каком-то творчески-бытовом контексте, а интонация разговора о нём носит приятельский инисходительный характер. Нет сомнений, всякое воспоминание о мастере дополняет его портрет. Тем не менее, есть вещи вторичные и по значению обманчивые, которые время от времени претендуют на "последнюю правду" о художнике, снижают значение созданного им, а саму его фигуру составляют из черт ничтожных, очень часто являющихся отражением личности повествователя и специфики его призмлённого зрениа.

Поэзия Юрия Кузнецова — парадоксальная художественная вселенная, которую можно понять лишь изнутри. Но прежде — уяснив собственную роль: и в соотношении с родовыми преданиями, и в контексте общей православной судьбы. Только тогда этот таинственный и чудесный мир откроется внимательному и бережному читателю и обнажит свои законы.

Воронеж